

Нить каждой жизни — нить каждой памяти непрерывна и многоцветна. Кажется, черное в ней должно преобладать, но, оглядываясь назад, видишь больше яркое. В этой пестроте прошедшей радости непеременил театр, прежде всего — Художественный. Куда меня начали водить (вернее, возить, жили не в центре) где-то в середине тридцатых годов. А до тех пор именно мхатовские спектакли осяняли старшее поколение нашей врачебной семьи, таганских обывателей. На этажерке рядом стояли томики старого издания Чехова и книги Николая Эфроса. На стене,

его то и жалче больше всех. Жужжание волчка, виолончельный голос Еланской: "Музыка играет так весело, так радостно, и кажется, еще немного и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем... Если бы знать, если бы знать!"

Конечно же, великим подарком нам, эвакуированным в Саратов, стал приезд эвакуированного МХАТа осенью сорок первого. Сначала слухи — МХАТ едет! Потом реальность — утром везут по улице закутанную арфу из оперного театра — значит, вечером будет "Школа злословия", Андрюшская заиграет на этой арфе, Яншин ей подсушит на флейте: "Голубок и горлица". Пройдет Тарасова в белом пуховом платке над темными бровями: вечером "Анна Каренина", в сборном оформлении. Ванские стулья, в салоне Бетси Твер-

Если бы

(немного о том же Художественном театре.)

Елена ПОЛЯКОВА

рядом с дедовой фотографией, — Чехов. В альбомах мешались свои сестры, три сестры, Петя Трофимов-Качалов, для Пети непозволительно красивый. Станиславский — Вершинин, Астров. Его особенно любил дядя Федя, человек чеховско-астровской внешности и земских убеждений. Отсидевший свое по 58 статей (рассказывал антисоветские анекдоты коллегам и пациентам), но уцелевший, даже не потерявший любви к анекдотам, он говорил, прихлебывая чай из старого подстаканника: "Я ведь и там Вершинина вспоминал. Как Станиславский тосковал: "Чаю хочется... Полжизни за стакан чаю".

Непрерывность воспоминаний того, старшего поколения; их предрассветные очереди за дешевыми билетами во всю длину Камергерского переулка, лысый дьявол Анатэма, норвежский пастор Бранд, свои, всегдашние дядя Ваня, Епиходовы, сестры, которые почему-то, в то же время понятно почему, никак не могли переехать в Москву. В памяти моего следующего поколения — серый одноклассник Чехова, изумительно, именно для нас, школьников, собранный Роскиным с комментариями новеллами. Фотографии Андрюшской, Ливанова, Хмелева, рядом — наш "пионеротряд 7-го "Б", несчастные выезды в театр — в Камергерский, уже переименованный в "проезд Художественного театра" или в его филиал, который взрослые называли странно — "бывший Корш". Сначала "Горячее сердце", "Фигаро", потом уже "Синяя птица", только что разрешенная в новой редакции, то есть без всякой мистики "неродившихся душ".

Весной 1938 года мать и ее сестры дружно рыдали: умер Шаляпин. Летом, душным августом, они рыдали не менее дружно; все могли бы поддаться под строчками Фаины Раневской. Впрочем, эти строчки о летнем тридцать восьмом опубликованы в девяносто шестом: "Обычно, проходя мимо газетного киоска, покупала газету. В ней оказалась траурная рамка с извещением о кончине Станиславского. Я залплакала, но это был не плач, а что-то похожее на собачий лай: ав, ав, ав... И так дошла до санатория, не переставая лаять. Кинулась на постель и начала нормально плакать. Не забуду до смертного часа его на сцене. И сейчас вижу перед собой его Гаева, Крутицкого, Астрова"... Потом записи об Ахматовой, о Твардовском, об одиночестве в своем театре: "Театр катится в пропасть по коммерческому рельсам. Бедный, бедный К.С."

Осенью — сорок лет театра. Портрет Станиславского. Речь Владимира Ивановича. Правительство в ложе. Труп на сцене. В полной силе еще "старички": Москвин, Леонидов, Качалов, Книппер. В полном расцвете второе поколение. Живое, мощное кольцо спектаклей, от "Вишневого сада". "На дне" — до "Врагов", "Воскресения", "Анны Карениной", и в кинофильмах те же лица, и в концертах непеременившиеся сцены "Турбиных", Качалова — Ивана Карамзова, а вскоре, в самый канун войны возникнут "Три сестры". Сколько раз будут они видены-слышаны? Кажется, ушедшая жизнь, военные сейчас — красноармейцы, лейтенанты, в гимнастерках без погон, тогда — солдаты, поручики в мундирах, с погонями, да еще один из них барон,

сской подают к чаю "куш" — вроде бы пирог, но без начинки. Женщины в зале одеты более чем бедно, все же у каждой шарфик на шее, брошечка у воротника. Штатских мужчин достаточно (в Саратов эвакуированы заводы, предприятия с "броней"), но преобладают военные, иногда легко раненные: у кого рука на повязке, кто на костылях. Возвращаемся из театра гурыбой, в жестокий мороз, в еле ползущем трамвае, стекла которого густо замаслены синим — Сталинград рядом, начинаются налеты и на саратовские холмы. На следующий день в заводской столовке, где подавальщица разливает жидкий "суп перловый", получающий тарелку вместо — "мне бы погуще", говорит: "мне бы помхатче".

Наш век — век аббревиатур. Слов сокращенных — "Главлот", "Главискусство", "Ленком", слов сокращенных, образующих как бы новые слова: "СССР", "ЗАГС", совсем уж загадочные "театр имени МГСПС" или "ПоСПС". Наименованный при рождении

Художественно-общедоступным, МХОТ просуществовал недолго, стал просто Художественным. "МХТ" — понятно, но труднопроизносимое, новая гласная "А", определившая статут после революции, одновременно обозначила привилегированное, особое положение и сделала слово по-русски протяженным: "МХАТ", "Мхатовцы приехали". Слово обжилося в десятилетиях. В Москву МХАТ вернулся уже осенью 42-го года, и мы снова стояли в тех же длиннейших очередях со списками, номерами, волнением.

Для нас открывалась касса в центральном подъезде, в это время актеры сходились к репетиции, — всегда румяный Станицын, всегда бледный Хмелев, необъятная Шевченко, тростинка-Степанова, громадина-Ершов в меховой дохе, рядом, словно уайльдовский лорд — Массальский с легкой тросточкой. Похожие, сразу скажешь — братья, и разные, как братья, Москвин и Тарханов. Михаил Михайлович Тарханов был тогда художественным руководителем ГИТИСа; при поступлении на театроведческий я, конечно, писала рецензию о "Трех сестрах". В ГИТИСе так разнообразно, так полуголодно, так пестро-радостно (с заметными черными вpletениями) шумели, репетировали, занимались дикцией-ритмом, "системой Станиславского", марксизмом-ленинизмом, слушали лекции, показывали курсы и выпускные спектакли. Писали рецензии на эти спектакли — актеры, режиссеры, театроведы, студийцы литовской, киргизской, украинской студий. Праздновались свадьбы, то грузинско-литовская, то еврейско-татарская; в подвально-тесном буфете перехватывали лиловый виноград с куском селедки, наливали в граненый стакан нечто подслащенное, называемое "кофе" — и разбегались по театрам. С гитисовским студенческим билетом было, конечно, легко. На просмотры генеральные приходилось ломиться, устраивать организованные прорывы, на не-премьерные спектакли администраторы редко отказывали в контрмарке: "без места", росчерк-подпись, и ты раздеваешься на вешалке, с которой, как известно, начинается театр, дальше — по выбору, или сразу занимаешь место на ступеньке, или занимаешь "свободное", молясь — "чтобы не пришли, чтобы не пришли". Если появлялся законный обладатель места — приходилось выбираться из ряда и садиться на ступеньку где попало, неудобно поджав ноги, чтобы не толкать сокурсника, сидящего на пре-

Журан и Сундур -

№ 42 (458), октябрь 1998 года